

# ОЛЫГА СОБОЛЕВА

## О FORTUNA

Едва он перешагнул порог родного дома, автопилот вырубился. Неловко впечатавшись в гардероб, Кулагин сперва повалился на дурацкий пасынков велик, а после, падая, увлек за собой выходное Светино пальто. «Натуральный итальянский кашемир», стоивший ему астрономических денег, бесславно разметался среди пыльных кроссовок и осенней хандры, прильнув роскошным лисьим воротом к грязному велосипедному колесу, словно дорогая куртизанка к вшивому юнге.

«Сука!» — прохрипел Кулагин, поклявшись задать наконец-то Вовке за свинство. Сколько раз просил убраться с прохода...

У мальчика хрупкая натура, увещевала Кулагина молодая женушка, не позволяя участвовать в воспитании ребенка, даже голос на него повышать. Вместо бокса или, на худой конец, плавания, Света водила сына в театральную студию и возлагала большие надежды на будущего артиста. Кулагин не собирался встревать в ее фантазии, утешаясь собственными, где он, кандидат филологических наук, почти опубликованный автор исторического романа, видел жирненького семилетку исключительно дворником или пустоголовым охранником продуктового склада, как и в детстве радостно жрущим фастфуд.

С трудом поднявшись, Кулагин протопал на кухню, хлебнул из-под крана холодной воды и уперся пьяным взглядом в кричащее послание на холодильнике, выведенное твердой Светиной рукой: «Толя баран!».

Глава семьи поперхнулся. Жена с неделю просила его разделить купленное мясо, а он — все никак. Но эта запы-

тая... черт... Вот стерва! Язва пунктуационная! Он представил ухмыляющееся пухлощекое лицо Вовки и сложно выругался. Мелкий гаденыш уж точно видел записку и, хоть и не отличался большим умом, по русскому шел неплохо, наверняка сполна оценив откровенную издевку матери над отчимом. Кулагин вспыхнул. Мало того что распустила, так еще и уважения к старшим не прививает, топчет его родительский авторитет! А может, запятая была, но Вовка стер ее? С него станется...

Шатаясь, Кулагин приблизился к записке. Буквы скакали, превращая улику в круговерть бессмысленных пятен, расплывались ядовито-зеленым, казалось капавшим с бумаги на пол.

Кулагин вернулся к раковине, сплюнул, подавив подкатившую было блевотину, помотал тяжелой башкой и двинулся на балкон.

Слева в углу, прижатый к летней резине, полулежал большой черный куль. Кулагин в сердцах ухнул укрытую баранью тушу об пол, пнул от души, скривился, ткнувшись ногой в мягкое. Сдернул один из пакетов, злобно разодрав тугую толстую пленку, — в рванине показался курчавый затылок с аккуратными завитушками рогов. Перебравший литератор тяпнул топором, едва успев подумать, зачем вообще жене понадобилась бесполезная черепушка. Мелькнули темные балахоны, блеснули свечи, жертвенный агнец пролил кровь, и голая Светкавилась эротичной змеей под грянувшую вдруг «*O Fortuna velut luna...*».

Кулагин замер.

Что-то жуткое шевельнулось в груди.

Он впился взглядом в сочащуюся из-под туши кровь, ее было много, так много... и она была свежей, стремительно подступала к кулагинским шерстяным носкам. Пока не коснулась их, пропитав и послав мозгу нервный, сводящий с ума импульс: теплая! Баранья голова сама собой развернулась мордой кверху, и на Кулагина уставились закатившиеся Вовкины глаза.

«Я хотел напугать тебя, папа», — проблеял перекошенный детский рот, мертвая рука под золотистой накидкой сценического костюма сжимала пригласительные в театр.

«Семеро козлят. Remake» — прочел Кулагин и потерял сознание.

# ДАРЬЯ СНИЦАРЬ

## ВЫШЕЛ ПАЛЬЧИК ПОГУЛЯТЬ

Мне нравится, как визжит циркулярный станок в полупустой комнате. В гараже звучал глухо, а под высоким потолком, в белых стенах — распелся. Я больше не боюсь потревожить больную мать: она, слава богу, мертва.

Острый певучий диск распиливает лист ДСП. Хочу поменять дно холостяцкого дивана. Старая доска прогнулась, в дырки по бокам можно палец просунуть. Мама хранила в нижнем отсеке закатки, а я даже белье там не прячу (пойми, ма, каждый день застилать постель — лишнее). И все же дно подправлю — такая во мне проснулась хозяйственность! Давно б проснулась, если бы кое-кто не нудел: мол, не дело тебе работать руками (вот уж никогда не рвался работать головой).

Захочу — и стены перекрашу! Белый — цвет сахара. Сладкий — вкус диабета. Такой мне представлялась болезнь матери, хотя под конец она стала скорее желтой, черной и дурно пахла. Однако стоял за всем белый. Белый тэк в маминой крови. Белый проступал в катаракте. Только чудом смерть пришла через инфаркт — красный.

С другой стороны, белый — стерилен. Я вывел из квартиры весь мамин хлам, и теперь из грязи здесь только древесная стружка. Я контролирую место, где живу. Никто здесь больше не посмеет медленно рассыпаться на сахар и прах. Сосед «Диабет» съехал.

Вж-ж, вж-ж! Распиливаю по намеченной линии. На доске что-то блестит. Крупинки сахара?

Клац! Лист соскочил. Зараза!

Мой палец — чпок! — на циркулярку наткнулся. Боль. Белый в глазах. Кровища. Не смог сразу руку отвести —

инерция, чтоб ее! Ударил другой ладонью по кнопке, пила заглохла. Палец лежит на доске отрезанный, будто не мой. Забыл кто?

Рука немеет, из пенька кровь хлещет, мне чудится звук — бульк-бульк-бульк. Поработал руками, на тебе!

Отрезанный палец будто бы дернулся.

— Лежи здесь, никуда не уходи! — пригрозил я (стало больно до смеха).

Пока бинтовал на кухне рану, вспомнил: палец ведь обратно пришить могут! Хотя на керченскую медицину надежды нет. Если не получится, так хоть припугну всех в больнице обрубком. Хватаю целлофановый пакет, туда сыплю лед из холодильника — и в комнату.

Хоп, а пальца-то нет! Смотрю на руку: не прирос ли обратно? Не вижу. Возле станка, на полу, под диваном — не вижу. Пятна крови только. Все вокруг белеет.

Не могу я ждать, пока палец приползет с извинениями. Плюнул, надел обувь, открыл дверь, ногу за порог, и вдруг слышу: шурх-шурх-шурх — ползет что-то. Я обмер. Зараза! Разбираться некогда — обезболивающее ой как нужно. Сел за руль, как суровый герой суровых фильмов, и поехал на «девятке» в больницу.

Рану зашили быстро, но утомительно подкалывали: как же это я палец потерял?

— Найду — убью!

Все над моими словами посмеялись. А я не шутил. Расплющу подонка.

Вернулся домой и с порога говорю:

— Раз, два, три, четыре, пять, вышел пальчик погулять.

Притаился, тварюга. Ну, сегодня уже нет сил искать. Лег в постель, думаю: чем занимался палец, пока меня не было?

Посмотрел на повязку, а там что-то желтое, черное выступило. Набухает.

Плевать. Авось до утра рассосется.

Чувствую: под бинтом чешется. И звук доносится, словно изнутри дивана: крак-крак-крак. Будто застыл кто,

старается не двигаться, а не может. Елозит, поворачивается потихоньку. Дерево крак-крак.

Сел я в постели, включил торшер, стянул бинт, смотрю — палец обратно отрастает! Появилась уже четверть и выглядит не как прежде, а стала желтой, черной, пористой. Внутри наверняка белая. Не плоть — гнилой поролон. Гадко стало. Я как червяк. Иначе это сложно объяснить. Что ни отруби, отрастает (а голову? что будет?..). Уснул.

Ночью будит меня шуршание. На этот раз явное, прямо подо мной. В пустом ящике для белья. В непустом ящике. Правильно говорила мама — надо было постель складывать. Открыл бы ящик, проверил, прежде чем ложиться спать.

Поздно, не проверил. Раз, два, три, четыре, пять... (шурх-шурх-шурх — движется) вышел пальчик погулять!

Щели в диване величиной с палец. Палец.

От страха ежусь, чувствую: отрезанное отросло. Их снова десять. Длинный, желтый, черный, внутри рыхлый, белый. Червяк. Я червяк. А что со второй половинкой?

Шурх-шурх-шурх.

Она тоже живет.

Интересный факт: если червяка разрезать надвое, выживет голова. У отрезанного хвоста отрастет хвост, и эта часть умрет с голода. Видите? Не такой уж я и тупой. Мама говорила не работать руками, а сама не верила, что я смогу головой. Но голова — у меня, я главный из червяков.

Снизу по дивану начинают стучать, моя спина вибрирует. У него есть руки, ноги. И лишь один человеческий палец. Может, он и будет есть. Может, съест меня.

У него человеческий палец, а остальное наплыло,росло, наслоилось. Диабетическая стопа, диабетические пальцы. Белое. Сахарное. Я-червяк. Второй я. Он тарабанит со всей силы, и, стоит соскочить с постели, выберется. Будет есть меня. Или еще хуже: поселится здесь.

Трещит дерево. Вот-вот дно дивана проломится. Я ж не успел поменять! Зараза!

Белое.

# РОМАН КУЗЬМИЧЕВ

## ПРАЗДНИК СМЕРТИ

Майк был в Индонезийской провинции Южный Сулавеси лишь проездом, но, как истинный любитель острых ощущений, не мог не попасть на церемонию Очищения трупов в местной деревушке. Поэтому, быстро разобравшись с делами по бизнес-встрече в Макассаре и договорившись встретиться с Тоби и Луизой в аэропорту позже, прыгнул в такси до аэропорта и улетел на север провинции. Там из городишка Лоданг он отправился в заветную деревню.

Проводника Майк нашел заранее, через своих друзей-путешественников. Пообещал тому неприлично большую сумму только за то, что его проводят до поселения. Местные не очень любили приезжих, потому что ревностно относились к своим ритуалам и традициям. Каждый год жители этой деревушки вытаскивали умерших родственников из могил, одевали в чистую новую одежду, причесывали и ходили с ними по городу, чтобы ушедшие могли снова побывать на месте смерти и вспомнить родню. Неподготовленный турист, забредший туда во время церемонии, был бы, конечно, ошарашен мумиями, стоящими на улицах и сидящими в домах. Но Майк ехал туда целенаправленно.

Спустя несколько часов тряски в расшатанном джипе без дверей проводник сообщил на ломаном английском:

— Приехали, дальше не идти, я. — Джип резко дернулся. — Не любить праздник, заставить помогать. — Он виновато развел руками и улыбнулся. — Ненек встретить.

Видимо, «ненок» означало «бабуля», потому что, как только Майк вышел на опушку тропического леса, ему навстречу засеменила маленькая смуглая старушка в ярко-оранжевом сарафане, широко улыбаясь. Радостно закивав в ответ на имя гида, она потащила Майка за руку, не переставая что-то тараторить. На окраине деревни кладбище, мимо которого они прошли, было пустым — все могилы аккуратно раскопаны, гробы раскрыты.

А вот в самой деревне стоял непрекращающийся гул — праздник был в самом разгаре. Поначалу Майк и не заметил мумий. Просто множество танцующих, смеющихся и спорящих людей, гуляющих по улицам, стоящих группками, выкрикивающих что-то с балконов двухэтажных домиков. Все нарядные, яркие. Но чем больше Майк замечал трупов — мумий родственников, иссохших, с оскаленными зубами, безглазых, с редкими прядями волос, — тем сильнее его пробивал озноб. С ними обнимались, танцевали или просто несли их по улице. Один парень кружился в танце, положив костлявые руки трупа себе на плечи, а все кругом напевали и хлопали в ладоши. Какая-то женщина сидела на пороге дома, положив голову на плечо умершего мужа.

Ненок продолжала улыбаться и вести Майка в центр поселения. Народу становилось все больше. Трупов тоже. Смех, крики и музыка звучали все громче. Наконец она предложила ему зайти в дом, где уже был накрыт большой стол. Многие стояли, попивая напитки из бумажных стаканчиков, некоторые уже сидели за столом. Как и трупы родственников. Ненок усадила Майка за стол, а сама, сверкнув оранжевым сарафаном, скрылась на кухне. Пока ее не было, в дом зашло еще несколько человек, затем Ненок что-то крикнула, и все начали подходить и садиться.

Напротив Майка через стол усадили мумию мужчины с пробитым черепом. Впалые глазницы мертвеца будто смотрели в душу, и несмотря на то, что все кругом веселились, похлопывали Майка по плечу, забавляясь его страхом, ему уже не так сильно хотелось здесь находиться. Как вообще эти люди могут спокойно соседствовать с трупами?



Ненек уселась по правую руку от Майка, все так же широко улыбаясь. Он же в свою очередь не мог отвести взгляда от мертвого соседа напротив, краем глаза замечая, что движения вокруг все меньше. Ненек потерела Майка за руку, предлагая наложить еды, и тот с трудом оторвал взгляд от мертвеца. Но когда он повернулся к старушке, то увидел лишь иссохшую мумию в ярко-оранжевом сарафане. Кругом продолжался шум, смех, разговоры, но за столом сидели только мертвецы. Вдруг Ненек резко, с хрустом повернула к нему голову и на чистом английском завизжала:

— Добро пожаловать на трапезу!

— Он пропустил уже второй рейс, а я так и не могу до него дозвониться! — ассистент Майка, Луиза, была вся как на иголках. — И сдалась ему эта деревенька!

— Он давно хотел попасть на Очищение трупов, как только услышал об этом от Тома. — Тоби, лучший друг Майка, пожал плечами. — А в какую именно он поехал?

— Не знаю, он говорил что-то про Лоданг.

Тоби так сильно побледнел, что Луизе самой стало плохо.

— Но там нет ни одной деревни, их скосило чумой еще двести лет назад. Это зона отчуждения...

# ТИМУР НИГМАТОВ

## ГЕНИАЛЬНЫЙ МАРКЕТОЛОГ

Мистер О’Доннелл кивком отвечал на приветствия горожан. Он знал всех, кто занимал места на трибуне, установленной на обочине Пампкин Стрит. На традиционное празднование Самайна собрался весь Гудвилл. Пестрота нарядов и буйство фантазии их авторов повергали в шок. Даже убеленные сединами старцы дурачились, как дети.

Только О’Доннелл хмурился. Он грустил по былым временам. Тогда здесь сновали толпы туристов. И он, мэр, имел солидную прибавку к доходам.

А теперь даже места почетных граждан Гудвилла пустовали. Может, они решили бойкотировать праздник?

Из ниоткуда возник жизнерадостный молодой человек.

— Мистер О’Доннелл, все готово!

— Отлично, Сэм, благодарю. — Мэр впервые улыбнулся.

О’Доннелл благодарил Бога за утро, когда порог его дома пересек Сэм. Талантливый паренек приехал издалека и поклялся вернуть утраченную славу Гудвилла. Именно он предложил кульминацию праздника — проезд красочно убранных грузовиков по Пампкин Стрит.

Послышались крики. Мистер О’Доннелл вытянул шею, чтобы увидеть дальний конец улицы. Выехал первый автомобиль, украшенный огнями.

Волна возгласов приближалась к мэру. Он нетерпеливо приплясывал на месте. Вдруг О’Доннелл насторожился. Он ошибся — толпа не ликовала. Люди вопили от ужаса.

Вскоре грузовик с откинутым бортом поравнялся с мэром. И глаза его полезли из орбит.

В кузове, за столом, в живописных позах сидели тринадцать почетных граждан Гудвилла. Вернее, их обезглавленные тела. Вместо голов щерились полые тыквы.

О’Доннелл узнал стилизацию — репродукция «Тайной вечери» висела на стене его гостиной.

А еще понял, что Сэма искать бесполезно...

\*\*\*

Спустя год, на Самайн, бывший мэр О’Доннелл занял самое высокое место на трибуне. Обвел довольным взглядом Пампкин Стрит, кишашую туристами, и подумал:

«Все-таки этот парень — гениальный маркетолог».

# ДЕНИС САПРАНОВ

## БОЧКА

У Настеньки было особенное место, куда она выбрасывала свои рисунки и листки из дневника. Ее бабушка черпал из нее воду для поливки огорода — огромная, пахнущая ржавчиной бочка, едва-едва на цыпочках девочка могла туда заглянуть. Там плавали какие-то плоские жучки, а сама вода словно дышала на нее теплом, изредка позволяя увидеть волнующееся отражение.

Бабушка давал Настеньке наказания, но никогда не ругал: — Вон же ведро мусорное, или в печь кидай — погорит, все же такое для растопки лучше.

Бабушка всегда улыбался, хоть и не понимал страдавший внучки как нужно. Был он до таких чувств глухим человеком.

Звенело и горело лето. Вся детвора бегала на пруд, смеялась в ласкающем вечере, играла в догонялки, а Настенька страдала, запершись у себя в комнате, и черкала всякое нехорошее для ее возраста на листках, с ненавистью и злобой покинутого ребенка.

Мама и папа Насти расстались. Папа ушел, а мама вся в слезах, от нее пахнет сигаретами, глаза уставшие и красные. Настя все к окну бегала и бегала, ждала, не вернется ли папа. Но тот не вернулся, и мать отправила дочку к бабушке Васе в деревню, подальше от своих слез.

Долго Настя кормила ржавую бочку своими страданиями, рисунками с жуткими сценами расправы над папой, выбрасывала скомканные листы с мольбами, угрозами и надеждами, что все снова станет по-прежнему. А потом писала извинения, заново, и снова, и снова, лишь бы чем-то закрыть дыру в сердечке. Никогда она больше не нарисует всю семью в сборе, держащихся за руки, а над

ними золотое солнце, а позади зеленый забор деревьев. Уютный домик на рисунках выглядит теперь как черепок: в окнах не горит свет, из трубы не идет дым. Все черное, угольное.

И долго бочка кормилась ее страданиями, проглатывая мятые листки, делая их тяжелыми и бледными, слизывая с них карандашные цвета да пережевывая нарисованные воспоминания. Долго, пока однажды дедушка Настя не подорвался ночью от дурного сна, выругался, перекрестился и после до первых петухов не мог заснуть — а там уже и не имело смысла.

До того был сон поганый, что заставил вспомнить юность, строгого отца, и его нрав бешеный, и поступки отчаянные. Снилось, как отец покончил с собой по напасти зеленого змия. Напился до невменяемого состояния, да и залез в ту бочку, которая тогда еще не была ржавой. Залез, да так и утонул, достали его оттуда синего и скрюченного, с открытыми, как у рыбы, глазами. И так на всю жизнь Василий запомнил глаза отца — вопреки желанию запоминать. И сон казался таким живым — хоть никогда и не снились ему сны — что вдруг послышалось, будто в бочку кто-то камешек кинул.

Бульк!

Множились страдания. Мама звонила на домашний, Настя бежала к трубке, чуть ли не срывала, чтобы услышать долгое молчание матери, а потом вслушиваться в ее неясную, заплетающуюся речь.

— Да все хорошо, доченька. — Нос у мамы шмыгал, и Настя начинала от этого сама тихонько хныкать.

— Мариш, давай уже, — такой же неясный женский голос на фоне, и мама спешно прощалась сонным голосом.

Уговоров дедушки Настя слышать не хотела — на улице и детвору ей было плевать. Она все так же кормила бочку, а та и рада была — принимала и проглатывала все, пока ржавые ее стенки не напитались как следует, пока мутная, со спертым запахом мертвая вода не насытилась детскими слезами.

Сплюснутые листки бумаги распрямылись, соединившись по кругу, схватив в середине двух жуков-плавунцов, плоских с черными брюшками. Так и оставила бочка их по центру бумаги, те вдруг перестали двигать лапками — они теперь два черных глаза. Подул вечерний ветер и принес листья яблони, закинув их в бочку, прямо вокруг ожившего лица. Сытый воробей, сидевший на заборе, внезапно замер и, словно превратившись в камень, упал в бочку, даже не расплескав воды. Если бы кто видел его, то заметил бы, что глаза у воробья были живые, когда он уходил на дно. А дно вдруг стало глубоким, намного глубже, чем бочка снаружи; уходя в черный зев ржавой пасти, воробей не барахтался, только после всплыли его бурые перья и маленький, словно носик карандаша, клюв. Всплыли части да рассредоточились по бумажному лицу: перья — по кругу, а клюв — между бездвижными плавунцами.

Вытянулось лицо — шея из мелких веточек, а между ними светится вода. Глаза-жуки заморгали хитиновыми крыльями, закрываясь и раскрываясь, быстро-быстро, а бумажный нос втянул воздух лета.

Настя стояла как вкопанная — ни кричать, ни бежать, только выпали из рук листки с извинениями. «Папа, я тебя все равно люблю, прости, я хочу, чтобы ты вернулся». На листочке нарисованы мама, папа и Настенька, а сзади дом, и там из трубы идет дым. Не ветер, но что-то другое подхватило лист, закурило его, играясь, и отправило в бочку.

Лицо моргало крыльями жуков, ветер двигал перья и зеленые листья, словно гриву льва. Клюв беззвучно раскрылся, и Настя услышала шепот, перебивающий ночь, кваканье лягушек вдалеке, заглушающий все:

— П-п-па-па-а. Папа ту-ут. Он со мной. И-и-ди к папе. Вы будете вместе, — прошипела бочка.

И Настя несвоими ногами, в беззвучном крике широко раскрытого рта, пошла. Слезы текли по щекам.

У бочки не было дна.